

Барбе д'Оревилли

ДЕНДИЗМ
И
ДЖОРДЖ БРАММЕЛЛ



Жюль д'Оревилльи
Дендизм и Джордж Браммелл

Книжный магазин "Циолковский "

1861

д'Оревилы Ж. А.

Дендизм и Джордж Браммелл / Ж. А. д'Оревилы —
Книжный магазин "Циолковский ", 1861

ISBN 978-5-9500361-1-8

Такого Денди, каким был Браммелл, более не увидят: но люди, подобные ему, в какое бы одеяние ни облакал их свет, можно с уверенностью сказать, будут всегда, и даже в Англии. Они свидетельствуют о великолепном разнообразии божественного творения: они вечны, как прихоть. Человечество столь же нуждается в них, и в их очаровании, как и в своих самых возвышенных героях, в своих самых суровых величиях. Они дают разумным существам радости, на которые те имеют право. Они входят в состав благоденствия общества, как другие люди в состав общественной нравственности. Это натуры двойственные и сложные, неопределенного духовного пола, грация которых еще более проявляется в силе, а сила опять таки в грации... Третье издание на русском языке небольшого, но невероятно изящного трактата Барбе д'Оревилы о самом знаменитом денди всех времен – Джордже Брайане Браммелле.

ISBN 978-5-9500361-1-8

© д'Оревилы Ж. А., 1861
© Книжный магазин "Циолковский"
", 1861

Содержание

Предисловие	6
Сезару Дали,	8
Предисловие к второму изданию	9
I	12
II	13
III	14
IV	15
V	16
VI	18
VII	19
VIII	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Барбе д'Оревильи Дендизм и Джордж Браммелл

© ООО «Книгократия»

* * *

Предисловие

Как бы ни углублял сам Барбе д'Оревилли понятия «дендизма», говоря, что это не только искусство завязывать галстуки, как бы ни старались его поклонники и толкователи сделать из его блестящей и парадоксальной книги катехизис индивидуальной психологии, тем не менее эта книга – о моде, может быть о моде внутренней, о психологической манере «завязывать галстуки», но своего рода «хороший тон» скорее для внешнего поведения и внешнего мышления целого литературного поколения. Едва ли люди не литературы знали и оценили эту книгу, примечательную как документ и как удивительный фейерверк парадоксов, словечек и изречений. Мы не хотим несколько умалить значение книги, говоря, что она – о моде, так как придаем последнему слову более широкое значение. Mode, fashion, образ жизни, устав, уклад – это все, что в данный момент признается известным кругом общества за общепринятое, за надобное, за приличное. Всех бы поразило выражение: «У старообрядцев мода при начале службы делать семипоклонный *начал*», так же как: «По *уставу* при сюртуке не полагается белого галстука», – меж тем как разница вся в том, что первый обычай касается церковной практики и освящен столетиями, а вторая подробность относится к туалету и освящена лишь десятками лет или даже минутой, – но сущность их одинакова. Несколько таких минут запечатлел в своей книге о дендизме и Барбе д'Оревилли, внося много личного и отчасти творя моды, нежели их документируя. Но не так ли поступал и Оскар Уайльд, часть афоризмов которого нужно признать не за индивидуальные утверждения, а за мнения современного ему кружка эстетов. В этой области, как и во всякой другой, конечно, единичное и коллективное творчество разнятся друг от друга, но то, что сегодня мнение и парадокс д'Оревилли или Уайльда, не может ли завтра быть параграфом общего устава мод! И хотя дендизм им понимается как бунт индивидуального вкуса против нивелировки и тирании моды, не служит ли этот самый протест известной модой, уже имевшей прецеденты в итальянском Ренессансе, где все одеты по-разному, ни один человек не хочет быть похожим на другого и даже одна нога стремится разниться от другой цветом?

Капризность и произвольность этой книги придают ей особую остроту и привлекательность, может быть несколько уменьшая ее значение практического кодекса.

Как известно, появление этой вещи имело место в 1845 году, накануне перелома, совершившегося в творчестве Барбе д'Оревилли, когда он вернулся к католичеству и Средневековью с их укладом, утварью и обстановкой, несколько напоминая Рёскина и предвосхищая Гюисманса. Хотя наряду с католическими исследованиями он не оставляет и модных хроник, написанных истинным денди. Его статьи, как его внешность, поведение, были проникнуты каким-то наивным и трогательным достоинством, но мы должны признаться, что вполне понимаем улыбку современников при виде этой пламенной и несколько ходульной, романтически протестующей и наивной, непримиримой и детски простой фигуры. Безусловно, предмет, трактуемый в «Дендизме», – подлинное достояние искусства и большой, может быть, нежели спорт и военное дело; какая-то пятнадцатая муза (которых вообще слишком мало) – муза моды – вдохновляла эту горячую, упрямую, может быть, несколько смешную голову.

Барбе д'Оревилли занимал видное место в переходной от романтизма (но в прозе, кроме жестокостей В. Гюго и Э. Сю, не более ли классического, нежели это принято думать?) к натурализму и снова романтическому декаданству и символизму. Этим переходным положением объясняется недостаточное признание этой самой по себе противоречивой, причудливой, вызывающей и обаятельной фигуры. Но зоркий глаз сумеет заметить в этой редкости, ихтиозавре, горячее сердце, простое и наивное, подлинного великого поэта.

М. Кузмин

Сезару Дали, редактору «Revue de l'architecture»

Дорогой Дали!

Семнадцать лет тому назад я писал Вам:

«Пока Вы путешествуете, дорогой Дали, и пока память Ваших друзей не знает, где найти Вас, вот нечто (я не смею сказать: книга), что будет дожидаться Вас у Вашего порога. Это – статуэтка человека, который и не заслуживает, пожалуй, ничего иного, кроме статуэтки: достопримечательность быта и истории, место которой на этажерке вашего рабочего кабинета.

Браммелл не принадлежит к политической истории Англии. Он соприкоснулся с ней по своим связям, но не входит в нее. Его место в истории более высокой, более общей и более трудной для написания, – в истории английских нравов, ибо политическая история не захватывает всех общественных уклонов, а изучаемы должны быть все. Браммелл был выражением одного из этих уклонов; иначе его влияние было бы необъяснимо. Описать его, исследовать, показать, что влияние Браммелла не было поверхностно, все же могло бы быть темой для книги, которую забыл написать Бейль (Стендаль) и которая соблазнила бы Монтескьё.

К несчастью, я не Монтескьё и не Бейль, не орел и не рысь; но все же я старался разобраться в том, на что многие, конечно, не удостоили бы потратить объяснений. Что я увидел, я и предлагаю Вам, дорогой Дали. Вам, который чуток к изящному, как женщина и как артист, и который отдает себе отчет в его власти, как мыслитель, Вам хочу я посвятить этот этюд о человеке, почерпнувшем свою славу из своего изящества. Если бы я написал этюд о человеке, почерпнувшем славу из силы своего ума, то и тогда я смело мог бы посвятить его Вам, обладателю стольких дарований.

Примите же это как знак дружбы и как воспоминание о более счастливых днях, когда мы виделись чаще, чем теперь.

Преданный вам Ж. А. Барбе д'Оревилли.

Пасси... вилла Veauséjour. 19 сентября 1844 г.»

Так вот, мой друг, в этом посвящении, которому уже семнадцать лет, я не изменю сегодня ни одного слова, и это будет первый случай, когда семнадцать лет протекли, ничего не изменив.

Пусть оно останется неприкосновенным, как дружба, которой оно было выражением и которая осталась между нами неизменной, безоблачной и непрерывной. Я не всегда имел такую удачу в дружбе, как с Вами, нетронутой временем колонной среди моих развалин! Семнадцать лет Вам известно, как этот презренный Тацит, всегда несносный, ибо всегда правдивый, называет этот длинный ряд дней, о которых, быть может, мне лучше было бы умолчать, если бы с печалью о прожитом, дорогой Дали, я не соединял, по крайней мере, радостного права сказать что я остался к Вам тем же, каким я был вот уже столько лет, и, так как все в этой книге фатовство, похвалиться моими неумирающими чувствами.

Ж. А. Барбе д'Оревилли.

Париж, 29 сентября 1861 г.

Предисловие к второму изданию

Эта книга едва ли может считаться вторым изданием. Отпечатанная в немногих экземплярах несколько лет тому назад, она была роздана собственноручно немногочисленным лицам, и такого рода малая и сокрытая ее гласность принесла ей счастье, – будет ли ей столь же благоприятной и та широкая, на которую решаются теперь?.. Легкий шорох молвы, он, как женщины: настигает, когда делаешь вид, что от него бежишь. В этом дьявольском мире лучшим средством создать себе успех, быть может, было бы организовать нескромные разоблачения тайн.

Но автор ее не был столь глубокомысленен, когда издавал эту безделку. В то время его мало занимали слава и литературные дела. О, еще бы! Он был занят иными нарядами, чем нарядом собственной мысли, и иными заботами, чем о том, чтобы его читали. Впрочем, над заботами тех дней он сам теперь смеется, ибо такова жизнь. Не вся ли она здесь, в этой смене, возобновляющейся непрестанно, в смене заботы и насмешки?..

Автор «Дендизма и Джорджа Браммелла» не был *денди* (и чтение этой книги достаточно ясно покажет почему), но он был в той поре юности, которая побудила лорда Байрона сказать с его меланхолической иронией: «Когда я был красавцем с вьющимися локонами...»; а в те дни сама слава не перевесила бы на весах и одного из этих локонов. Итак он написал без авторских претензий, у него были другие, будьте покойны, дьявол тут ничего не лишился. Он написал эту маленькую книжку единственно затем, чтобы доставить удовольствие самому себе и тридцати лицам, своим неизвестным друзьям, в которых нельзя быть слишком уверенным, как нельзя без тщеславного фатовства похвалиться тем, что имеешь тридцать друзей в Париже. Так как у него не было недостатка в фатовстве, то он полагал, что их имеет, и действительно имел. Да будет ему разрешено это высказать, ибо он стал скромн, он нашел себе тридцать читателей для своих тридцати экземпляров. Это не было Битвой Тридцати, это было сочувствием Тридцати¹.

Будь эта книга написана о чем-нибудь великом, или о каком-нибудь великом человеке, она, конечно, канула бы со своими тридцатью экземплярами в то безмолвное невнимание, которое подобает великому и неуклонно платится ему мелким; но она была написана о человеке суетном и сходящим за самый законченный образец элегантно суетности в обществе весьма требовательном. А в свете каждый считает себя элегантно или стремится быть им. Даже те, что отказались от этой мысли, хотят все таки знать толк в элегантно, и вот почему книгу читали. Глупцы, которых я не назову, хвастались, что ее поняли, и я ручаюсь моему издателю, что они ее раскупят. Повсеместное фатовство! Фатовство, создавшее первый успех, создаст и второй этой вещице, на первой странице которой была сделана попытка написать дерзость: «О фате, фат для фатов», ибо все служит зеркалом для фатов и эта книга тоже зеркало для них. Многие придут посмотреть в него и расправить усы, одни – чтобы в нем узнать себя, другие – чтобы сделаться при помощи его... Браммеллами.

Правда, это будет бесполезно. Браммеллом сделаться нельзя. Им можно быть или не быть. Мимолетный властелин мимолетного мира, Браммелл имеет свой смысл и свое божественное право на существование подобно другим королям. Но если в последнее время заставили уличных зевак поверить в то, что и они властелины, то почему бы и черни салонной не иметь своих иллюзий подобно уличной черни?

Тем более, что их от этого излечит эта маленькая книжка. Они из нее увидят, что Браммелл был одной из самых редких индивидуальностей, давшей себе *единственно труд* –

¹ Combat des Trente – поединок между тридцатью французскими и тридцатью английскими рыцарями – один из эпизодов войны 1341–1365 гг. (прим. переводчика)

родиться; но, чтобы развернуться, ей необходимо было еще преимущество чрезвычайно утонченной аристократической среды. Они из нее увидят, чем только надо обладать... и чего у них недостает, чтобы быть Браммеллом. Автор «Дендизма» попытался это перечислить: те всемогущие пустяки, при помощи которых повелевают не одними только женщинами; но он хорошо знал, когда ее писал, что его книга – не книга советов, и что Макиавелли элегантности были бы еще более нелепы, чем Макиавелли политики..., которые нелепы уже в достаточной мере. Он знал, наконец, что его книга включает лишь осколок истории, археологический фрагмент, которому место как редкости на золотом туалетном столике фатов будущего, – если у них будут таковые; ибо прогресс, с его политической экономией и территориальным разделом, угрожающий сделать из человечества расу жалкой дряни, если и не уничтожит фатов, то, весьма возможно, упразднит их туалетные столики в стиле д'Орсе, как нечто несообразное равенству и соблазнительное.

Во всяком случае, вот книга, какой она была написана, ничто в ней не изменено, ничто не вычеркнуто. В нее только вонзили кое-где одно или два примечания.

Чопорная важность его времени, над которой автор «Дендизма» нередко смеялся, коснулась его не настолько, чтобы заставить смотреть на эту маленькую книжку, легкую по тону быть может (к легкости он стремился, она ему еще не надоела), как на шалость своей молодости, за которую ему следовало бы теперь извиниться. Как бы не так. Он готов даже, если бы довелось, утверждать перед лицом самых тупоголовых из господ Чопорных, что его книга столь же серьезна, как и всякая другая историческая книга. В самом деле, что видим мы здесь при свете этой искорки?.. Человека с его тщеславием, общественную утонченность и воздействия весьма реальные, хотя и непостижимые для одного только Разума, этого великого глупца, но тем более привлекательные, чем труднее их понять и в них проникнуть. А что может быть значительнее даже с высшей точки зрения людей наиболее отрешившихся и отвернувшихся от мира, от его дел и великолепия и наиболее презревших его пустоту и ничтожество?.. Спросите их. Разве в их глазах все виды тщеславия не имеют одной цены, какое бы имя они ни носили и как бы жеманно они ни выступали? Если бы Дендизм существовал в эпоху Паскаля, он, который был Денди, насколько им можно быть во Франции, разве не мог бы написать его историю, прежде чем вступить в Port-Royal: Паскаль, разъезжавший в карете, запряженной шестериком! А Рансе, тоже тигр по суровости, прежде чем углубиться в джунгли Траппизма², быть может, перевел бы нам капитана Джесса³, вместо того, чтобы переводить Анакреона; ибо Рансе был тоже Денди, Денди-священник, что еще разительней, чем Денди-математик; и заметьте, каково влияние Дендизма: строгий монах, о. Жервез, биограф Рансе, оставил нам очаровательное описание его восхитительных костюмов, как бы давая нам случай приобрести заслугу в борьбе с искушением, поселенным в нас жестоким желанием их надеть. Впрочем, это не значит, чтобы автор «Дендизма» считал себя так или иначе Паскалем или Рансе. Он никогда не был и не будет янсенистом⁴ и он не траппист... пока еще.

² Трапписты – католический монашеский орден, ответвление цистерцианского ордена, основанный в 1664 г. А.-Ж. ле Бутилье де Рансе, первоначально коммендатором, с 1662 аббатом цистерцианского монастыря в Ла-Траппе во Франции (откуда и название). Был создан как реформистское движение, в ответ на послабление правил и высокий уровень коррупции в других цистерцианских монастырях. Трапписты соблюдают устав святого Бенедикта более строго, чем в остальных орденах. Они обязаны молиться 11 часов в сутки, трудиться (первоначально в поле), соблюдать молчание, прерываемое только для молитв, песнопений и по другим уважительным причинам, и строгий пост (полный запрет на мясо, рыбу и яйца), облегчаемый только для больных. (прим. редакции)

³ Предпоследний историк Браммелла (прим. авт) (см. также Вайнштейн О. Денди. М.: Новое литературное обозрение, 2012)

⁴ Янсенизм – религиозное движение в католической церкви XVII–XVIII веках, со временем осужденное как ересь. Подчёркивало испорченную природу человека вследствие первородного греха, а следовательно – предопределение и абсолютную необходимость для спасения божественной благодати. Свободе выбора человеком убеждений и поступков янсенисты не придавали решающего значения. (прим. редакции)

Ж. К. Барбе д'Ореви́льи.

I

У чувств бывает своя судьба. Есть одно среди них, к которому безжалостен весь мир: это – тщеславие. Моралисты заклеили его в своих книгах, даже те из них, которые лучше всего показали, какое обширное место занимает оно в наших душах. Светские люди, тоже моралисты в своем роде, так как двадцать раз на день им случается произносить свой суд над ЖИЗНЬЮ, повторяли приговор, вынесенный книгами этому чувству, если им поверить, последнему из всех.

Можно угнетать чувства, как и людей. Правда ли, что чувство тщеславия – последнее из иерархии наших душевных чувств? Но пусть даже оно последнее, зачем презирать его, раз оно тоже занимает свое место?..

Но действительно ли оно последнее? Общественное значение чувств – вот что придает им ценность; но что же иное в ряду чувств бывает полезнее для общества, чем эта беспокойная погоня за людским одобрением, чем эта неутолимая жажда рукоплесканий, которая в великих делах зовется любовью к славе, и тщеславием в малых? Быть может, любовь, дружба или гордость? Но и любовь в тысяче своих оттенков и в бесчисленных своих производных, и даже дружба и гордость исходят из предпочтения к другому, или к нескольким другим, или, наконец, к самому себе, и это предпочтение исключает другие. Тщеславие считается со всем. Если оно отдает иногда предпочтение одним одобрениям перед другими, то его особенность и его честь велят ему страдать, когда отказано хотя в одном из них; ему не спится на ложе из роз, когда одна из них измята. Любовь говорит возлюбленному: ты мой мир; дружба: ты мне довлеешь, и нередко: – ты меня утешаешь. Гордость же, та безмолвна. Один блестящий остроумец сказал: «Гордость – король одинокий, праздный и слепой; его диадема закрывает ему глаза». Тщеславие владеет менее тесным миром, чем любовь; что достаточно для дружбы, того ему мало. Оно – королева в той же мере как гордость – король. Но королева всегда окруженная свитой, всегда занятая и бдительная, и ее диадема – там, где она лучше всего ее украшает.

Необходимо было высказать это, прежде чем заговорить о Дендизме, этом плоде чрезмерно гонимого тщеславия, и о великом тщеславце Джордже Браммелле.

II

Когда тщеславие удовлетворено и не скрывает этого, оно становится фатовством. Таково достаточно дерзкое название, придуманное лицемерами скромности, т. е. всем светом, из страха перед истинными чувствами. И ошибкой было бы считать, как это быть может принято, что фатовство есть исключительно тщеславие, проявляющееся в наших отношениях к женщинам. Нет, бывают фаты всякого рода: фаты рождения, состояния, честолюбия, учености: Тюфьер⁵ – один из них, Тюркаре⁶ – другой; но так как женщины занимают видное место во Франции, то там под фатовством привыкли разуметь тщеславие тех, что им нравятся и что считают себя неотразимыми. Однако это фатовство, общее всем народам, у которых женщина играет какую-нибудь роль, совсем не то, что вот уже несколько лет делает попытку привиться в Париже под именем Дендизма. Первое есть форма тщеславия человеческого, всеобщего; второе – форма тщеславия очень и очень особенного – тщеславия английского. Всё человеческое, всеобщее имеет свое имя на языке Вольтера, но что не таково, должно быть внесено извне в этот язык. И вот почему *Дендизм* не французское слово. Оно останется чуждым для нас, как и выражаемое им явление. Как бы хорошо мы ни отражали все цвета, хамелеон не может отражать белого, а для народов белый цвет это сила их самобытности. Мы могли бы обладать еще большей способностью усвоения, которая и так нас отличает, и все же этот Божий дар не подавил бы иного могущественного дара – способности быть самим собой, которая составляет самую личность, самую сущность народа. Итак, сила английской самобытности, отпечатлевшаяся на человеческом тщеславии, – том тщеславии, которое глубоко коренится даже в сердце любого поваренка, и презрение к которому Паскаля было лишь слепой заносчивостью, – эта сила создает то, что называется Дендизмом. Никакая страна не разделит его с Англией. Он так же глубок, как ее гений. Обезьянство не есть подобие. Можно усвоить чужой вид или позу, как воруют фасон фрака; но играть комедию утомительно; но носить маску – мучение даже для человека с характером, который мог бы быть Фиеско⁷ Дендизма, если бы это понадобилось, тем более для наших милых молодых людей. Скука, которую они испытывают и нагоняют, придает им только ложный отблеск Дендизма. Они вольны принимать пресыщенный вид и натягивать до локтя белые перчатки – страна Ришелье не породит Браммелла.

⁵ Граф де Тюфьер – персонаж пьесы «Гордец» французского драматурга Филиппа Нерико (псевдоним Детуш) 1680–1754. Сюжетом комедии Детуша служит тщеславие чванство молодого графа, оттененные самомнением и фамильярностью разбогатевшего мещанина. (прим. редакции)

⁶ Тюркаре – персонаж пьесы «Тюркаре» французского сатирика и романиста Ален-Рене Лесажа (1668–1747), автора в том числе плутовского романа «Жиль Блас». (прим. редакции)

⁷ Фиеско – главный герой пьесы Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». См. вступительную статью А. А. Рейнгольда к первому русскому изданию 1901 г.: http://az.lib.ru/s/shiller_i_k/text_1901_fesko_olderfo.shtml. (прим. редакции)

III

Оба этих знаменитых фата могут походить друг на друга своим общечеловеческим тщеславием; но их разделяют все физиологические особенности двух рас, весь дух окружавших их обществ. Один принадлежал к нервной сангвинической французской расе, которая доходит до последних пределов в буре своих порывов; другой был потомок сынов Севера, лимфатических и бледных, холодных, как море, их породившее, но и гневливых как оно, любящих отогревать свою застывшую кровь пламенем алкоголя (high-spirits). Люди столь разных темпераментов, они оба обладали громадным тщеславием и, разумеется, сделали его двигателем своих поступков. В этом отношении они оба одинаково пренебрегли упреками моралистов, осуждающих тщеславие вместо того, чтобы определить его место и затем извинить.

Удивляться ли этому, когда речь идет о чувстве, вот уже восемнадцать столетий как раздавленном христианской идеей презрения к миру, идеей, все еще продолжающей царить в душах менее всего христианских? Мало того, разве не хранят мысленно почти все умные люди того или иного предрассудка, у подножия которого они затем приносят покаяние в собственном уме? Это объясняет все то худое, что не преминут высказать о Браммелле люди, считающие себя серьезными только потому, что не умеют улыбаться. И скорее этим, нежели партийным пристрастием, объясняются жестокие выходки Шамфора по отношению к Ришелье⁸. Своим едким, блестящим и ядовитым остроумием он пронзал его точно отравленным хрустальным стилетом. Здесь атеист Шамфор нес ярмо христианской идеи и тщеславец сам не сумел простить чувству, в котором сам был повинен, что оно давало счастье другим.

Ришелье, как и Браммелл, – даже больше, чем Браммелл, – испытал все виды славы и наслаждений, какие только может доставить молва. Оба они, повинувшись инстинктам своего тщеславия (научимся произносить без ужаса это слово), как повинуются инстинктам честолюбия, любви и т. д., оба они увенчались удачей; но на этом и прекращается сходство. Мало того, что у них были разные темпераменты; в них проявляются влияния среды и делают их еще раз непохожими друг на друга. Общество Ришелье сорвало с себя всякую узду в своей неутолимой жажде забав; общество Браммелла со скукой жевало свои удила. Общество первого было распущенным, общество второго – лицемерным.

В этом двойном расположении и коренится различие, какое мы замечаем между фатовством Ришелье и дендизмом Браммелла.

⁸ См.: де Шамфор Н. Максимумы и мысли. Характеры и анекдоты. СПб.: Изд-во Мирь, 2007. (прим. редакции)

IV

Действительно, Браммелл был Денди и только. Иначе Ришелье. Прежде чем быть тем фатом, образ которого вызывает в нас его имя, он был вельможей в кругу умирающей аристократии. Он был полководцем в военном государстве. Он был прекрасен в годы, когда восставшие чувства гордо делили с мыслью свою власть над ним, а нравы эпохи не запрещали следовать влечениям. Но и за пределами той роли, какую он играл, все же еще можно его представить себе как Ришелье. Он обладал всем тем, что имеет силу в жизни. Но отнимите Денди от Браммелла – что останется? Он не был годен ни на что более, но и ни на что меньшее, как быть величайшим Денди своего времени и всех времен. Он им был во всей точности, во всей чистоте, во всей наивности, если так можно сказать. В общественном месиве, которое из вежливости зовется обществом, почти всегда удел человека превышает его способности, или же способности превышают его удел. Но что касается Браммелла, то на его долю выпало редкое соответствие между его природой и предназначением, его гением и судьбой. Более остроумным и более страстным был Шеридан; большим поэтом (ибо Браммелл был поэтом) – лорд Байрон; большим вельможей – лорд Ярмут, или опять-таки Байрон: Ярмут, Байрон, Шеридан и множество других людей той эпохи, прославившихся на самых разных поприщах, тоже были Денди, но и кое-чем сверх того. Браммелл совсем не обладал этим кое-чем, которое у одних было страстью или гением, у других – высоким происхождением, огромным состоянием. И он только выиграл от этой своей скудости, ибо весь отдавшись лишь той единственной силе, которая его отличала, он поднялся на высоту единой идеи: он стал воплощением Дендизма.

V

Описать это почти так же трудно, как и определить. Умы, видящие вещи только с их самой незначительной стороны, вообразили, что Дендизм был по преимуществу искусством одеваться, счастливой и смелой диктатурой в деле туалета и внешней элегантности. Конечно, это отчасти и так; но Дендизм есть в то же время и нечто гораздо большее⁹.

Дендизм – это вся манера жить, а живут ведь не одной только материально видимой стороной. Эта «манера жить», вся составленная из тонких оттенков, как это всегда бывает в обществе с очень старой цивилизацией, где комическое становится столь редким и где приличия едва торжествуют над скукой. Нигде антагонизм приличий и порождаемой ими скуки не чувствуется сильнее в глубине быта, чем в Англии, в обществе Библии и Права, и быть может, из этой отчаянной борьбы, вечной как поединок Греха и Смерти у Мильтона, произошла та глубокая самобытность пуританского общества, которая создает в области вымысла Клариссу Харлоу¹⁰, и леди Байрон – в действительной жизни¹¹. В день, когда победа будет

⁹ Все делают эту ошибку, даже сами Англичане. Не счел ли недавно Томас Карлейль, автор Sartor Resartus*, своим долгом заговорить о Дендизме и о Денди в книге, которую он назвал Философией одежды (Philosophy of clothes)? Но Карлейль нарисовал модную картинку пьяным карандашом Хогарта и сказал: «Вот Дендизм». Это не было даже карикатурой, ибо карикатура только все преувеличивает, но ничего не отбрасывает. Карикатура – это иступленное преувеличение действительности, а действительность Дендизма носит черты человечности, общественности и духовности... Это не ходячий фрак, напротив, только известная манера носить его создает Дендизм. Можно оставаться Денди и в помятой одежде. Был же им лорд Спенсер, во фраке у которого оставалась единственная фалда. Правда, он ее отрезал, и таким образом создал тот покрой, что носит с тех пор его имя. Более того, однажды можно ли поверить – у Денди явилась причуда носить потертое платье. Это было как раз при Браммелле. Денди переступили все пределы дерзости, им больше ничего не оставалось. Они изобрели эту новую дерзость, которая так была проникнута духом Дендизма, они вздумали, прежде чем надеть фрак, протирать его на всем протяжении, пока он не станет своего рода кружевом или облаком. Они хотели ходить в облаке, эти боги. Работа была очень тонкая, долгая и для выполнения ее служил кусок отточенного стекла. Вот настоящий пример Дендизма. Одежда тут ни при чем. Ее даже почти не существует больше. А вот другой пример: Браммелл носил перчатки, которые облегали его руки, как мокрая кисея. Но Дендизм состоял не в совершенстве этих перчаток, принимавших очертание ногтей, как их принимает тело, а в том, что перчатки были изготовлены четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти рук, и одним для большого пальца. Томас Карлейль**, который написал другую книгу, озаглавленную «Герои», и который дал нам образы Героя Поэта, Героя Короля, Героя Писателя, Героя Священника, Героя Пророка и даже Героя Бога – мог бы нам дать также и образ Героя праздной элегантности – Героя Денди; но он забыл о нем. То, что он говорит впрочем в Sartor resartus о Денди вообще, которых он клеймит резким именем секты (Dandiacal sect), достаточно показывает, что со своим путаным немецким взглядом, английский Жан Поль ничего не разглядел бы в тех ясных и холодных оттенках, из которых слагался Браммелл. Он заговорил бы о них с глубокомыслием мелких французских историков, которые в важных до глупости Обозрениях судили о Браммелле приблизительно также, как сделали бы это башмачники или портные, не удостоенные им заказа; грошовые Дантаны, высекающие перочинным ножом свой собственный бюст из куска виндзорского мыла, негодного для мытья. (здесь и ниже все неподписанные примечания принадлежат перу Барбе д'Оревилли, примечания редакции подписаны отдельно). * Роман Томаса Карлейля. Название переводится с латыни как «Перекрытый портной». Впервые роман был опубликован частями в 1833–1834 годах. Написан в форме комментария к мыслям и биографии вымышленного немецкого философа Диогена Тейфельсдрёка (нем. Diogenes Teufelsdröckh – «Богорождённый Чертов Помет»), автора труда «Одежда: ее происхождение и влияние». (прим. редакции) ** Мне так хочется быть ясным и понятным, что я не боюсь казаться смешным, вставляя примечание к примечанию. Князь Кауниц, который не будучи англичанином (правда, он был австриец) приближается более других к типу Денди по невозмутимости, небрежности, величественному легкомыслию и свирепому эгоизму (он говорил тщеславно: «у меня нет ни одного друга», и ни смерть, ни агония Марии Терезии не подвинули часа его вставания и не сократили ни на минуту времени, которое он отдавал на свои неопишуемые туалеты); князь Кауниц не был Денди, когда надевал атласный корсет, подобно «Андалузке» Альфреда де-Мюссе, но он был им, когда, чтобы придать своим волосам требуемый оттенок, он проходил по анфиладе зал, которых он высчитал длину и число, и лакеи, вооруженные кисточками пудрили его, ровно то время, как он проходил этими залами.

¹⁰ «Кларисса, или История молодой леди» – роман Сэмюэля Ричардсона (1689–1761) в 4 томах, написанный в 1748 году. Создан в эпоху Зрелого Просвещения в жанре семейно-бытового нравоописательного романа воспитания. Этот жанр в то время был очень распространён в литературе. В частности, до «Клариссы» Ричардсон написал такие романы как «История Чарльза Грандиссона», «Памела, или Вознаграждённая добродетель». Главной идеей этих романов являлось превозношение добродетели в традиционном понимании: блаженны безгрешные, будьте добродетельны, и вы будете счастливы. Роман «Кларисса» написан иначе – в нем доминирует трагическая линия. (прим. редакции)

¹¹ Среди писателей она создает таких женщин, как мисс Эджеворт, мисс Эйкин (Aikin) и др. См. мемуары последней

решена, манера жить, носящая название Дендизма, претерпит, надо думать, большие изменения, если не исчезнет вовсе к тому времени; ибо она плод бесконечной борьбы между приличием и скукой¹².

Таким образом, одно из следствий Дендизма и одна из его существенных черт, лучше сказать его главная черта, состоит в том, чтобы поступать всегда неожиданно, так чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог этого предвидеть, рассуждая логически. Эксцентричность, другой плод взросший на английской почве, преследует ту же цель, но совсем по иному – необузданно, дико и слепо. Это мятеж личности против установленного порядка, порою против природы: отсюда недалеко до безумия. Дендизм, напротив: он издевается над правилами и все же еще их уважает.

Он страдает от их ига и мстит, не переставая им подчиняться; взывает к ним в то время, как от них ускользает; попеременно господствует сам и терпит над собой их господство: двойственный и переменчивый характер! Для этой игры надо иметь в своем распоряжении всю ту гибкость переходов, из которой слагается грация, подобно тому, как из сочетания и оттенков спектра рождается игра опала.

Итак, вот чем обладал Браммелл. Он обладал грацией, даруемой небом и столь часто извращаемой общественными стеснениями. Но так или иначе он ею обладал и тем отвечал прихотливости общества, скучающего и чрезмерно подавленного стеснительной строгостью приличий. Он был живым доказательством той истины, о которой должно неустанно напоминать людям строгих правил: если отрезать крылья у Фантазии, они вырастут вдвое¹³. Он обладал той фамильярностью, очаровательной и редкой, которая ко всему прикасается, ничего не профанируя. Он жил как равный и как товарищ со всеми могущественными и выдающимися людьми эпохи и своей непринужденностью поднимался до их уровня. Там, где и более ловкий человек потерял бы самообладание, он его сохранял. Его смелость всегда была верным расчетом. Он мог хвататься безнаказанно за лезвие топора. И все же говорили, что этот топор, лезвием которого он столько раз играл, обрезал его наконец; что он заинтересовал в своей гибели тщеславие другого подобного ему Денди, и Денди царственного, Георга IV; но его прошлая власть была так велика, что, если бы он захотел, то мог бы вернуть ее.

о Елисавете: стиль и мнения педантки и недотроги о недотроге и педантке.

¹² Бесполезно настаивать на скуке, снедающей сердце английского общества и дающей ему над другими обществами, пожираемыми этим злом лишь печальное превосходство в разврате и числе самоубийств. Современная скука – дитя анализа; но к ней, нашей общей властительнице, присоединяется в английском обществе, богатейшем в мире, еще скука римская, дитя пресыщения, которая умножила бы число «Тибериев на Капри», Тибериев без императорской власти, конечно если бы это общество средним числом состояло из людей более крупных.

¹³ См. в американских журналах об энтузиазме, вызванном М-Ие Эсслер среди потомков пуритан старой Англии: нога танцовщицы вскружила «Круглые Головы».

VI

Его жизнь всецело была влиянием на других, т. е. тем, что почти не поддается рассказу. Это влияние чувствуется все время пока оно длится, когда же прекращается, можно указать на его результаты; но, если эти результаты не отличны по своей природе от породившего их влияния и если они столь же недолговечны, то история их становится невозможной. Геркуланум восстает из пепла; но несколько протекших лет вернее погребают быт общества, чем вся лава вулканов. Мемуары, эта летопись нравов, имеют сами лишь приблизительную достоверность¹⁴. И так никогда не будет воссоздана во всей необходимой четкости, не говоря уже о жизненности, подробная картина английского общества времен Браммелла. Никогда не удастся проследить влияние Браммелла на современников на всем его извилистом протяжении и во всем его значении. Слова Байрона, что он предпочел бы быть Браммеллом, чем императором Наполеоном, всегда будут казаться смешной аффектацией или иронией. Истинный смысл их утрачен.

Однако, чем нападать на автора Чайльд-Гарольда, постараемся лучше понять его, когда он высказывал свое смелое предпочтение. Поэт и человек воображения, он был поражен властью Браммелла, – ибо мог судить о ней, – над воображением лицемерного и усталого от лицемерия общества. Он стоял перед фактом личного всемогущества, ближе подходившего к природе его прихотливого гения, чем всякий иной факт полновластия, каков бы он ни был.

¹⁴ И то, не всегда. Что такое, например, Мемуары Раксалля (Wraxall)? Однако, был ли когда-нибудь человек в положении лучшем, чем он, для наблюдений.

VII

И тем не менее история Браммелла будет написана этими именно словами, подобными словам Байрона, хотя, по странной иронии судьбы, как раз такие слова и составляют ее загадку. Восхищение, неоправдываемое фактами, которые бесследно исчезли будучи эфемерны по своей природе, авторитет самого великого имени, преклонение самого обаятельного гения – все это делает загадку лишь еще более темной.

Действительно, то что гибнет всего бесследнее, та сторона быта, от которой менее всего остается обломков – аромат слишком тонкий, чтобы сохраняться – это манеры, непередаваемые манеры¹⁵, благодаря которым Браммелл был властелином своего времени. Подобно оратору, великому актеру, непринужденному собеседнику, подобно всем этим умам, которые по слову Бюффона говорят «телу посредством тела», Браммелл сохранил только имя, светящее таинственным отблеском во всех мемуарах его эпохи. В них плохо объяснено занимаемое им место; но это место не ускользает от взгляда, и о нем стоит поразмыслить. Что касается настоящей попытки детального портрета, который предстоит еще сделать, то до сих пор никто не решался стать лицом к лицу с этой трудной задачей; ни один мыслитель не пытался отдать себе отчет, серьезный и строгий, в этом влиянии, отвечающем какому-то закону, или извращению, то есть искажению закона, что само по себе – всё же закон.

Умы глубокие не имели для этого достаточной тонкости; умы тонкие – достаточной глубины.

Однако, попытки были сделаны в этом направлении. Еще при жизни Браммелла два искусных пера, но очиненных слишком тонко, смоченных тушью слишком отдающей мускусом, набросали на голубоватой бумаге с серебряным обрезом несколько легких штрихов, за которыми сквозил образ Браммелла.

И это было очаровательно по своей остроумной легкости и небрежной проницательности. То были «Пэлем»¹⁶ и «Гренби»¹⁷. И до известной степени, то был и сам Браммелл, ибо эти произведения заключали наставления в Дендизме: но входило ли в намерения авторов нарисовать образ Браммелла, если не в событиях его жизни, то по крайней мере сохраняя реальные черты его личности среди произвольных допущений романа? Относительно «Пэлема» это не очень вероятно. «Гренби» внушает больше доверия: портрет Требека кажется сделанным с натуры, эти особые оттенки, наполовину природные и наполовину созданные общественными условиями, невозможно придумать; чувствуется, что присутствие изображаемой личности должно было оживлять взмах кисти художника.

Но исключая роман Листера, где Браммелл, если его там поискать, мог бы быть найден гораздо легче, чем в «Пэлеме» Бульвера, в Англии нет ни одной книги, которая изображала бы Браммелла таким, каков он был, и давала бы хоть скольконибудь отчетливое объяснение могучему влиянию его личности. Правда, не так давно, один замечательный человек¹⁸ выпустил в свет два тома, в которых он собрал с терпением любознательного ангела все известное о жизни Браммелла. Но почему столько доблестных усилий и забот увенчаны лишь роб-

¹⁵ Манеры – сплав движений души и тела, а нельзя нарисовать движения.

¹⁶ Бульвер-Литтон Э. «Пэлем, или приключения джентльмена». (прим. редакции)

¹⁷ Книга английского писателя Томаса Генри Листера (1800–1842), в которой Браммелл выведен в лице одного из героев. (прим. редакции)

¹⁸ Капитан Джесс (Jesse). Он написал два больших тома in 8° о Браммелле; но еще до выхода в свет своего труда, он с изысканной любезностью предоставил в наше распоряжение имевшиеся у него сведения о знаменитом Денди.

кой хроникой, без обратной стороны медали? Исторического освещения как раз и недостает образу Браммелла.

У него еще есть восхищенные поклонники, как колкий Сесиль (Cecil), любознательные исследователи, как капитан Джесс, враги... их имена неизвестны. Но среди его современников, оставшихся в живых, среди педантов всякого возраста, среди честных людей, ум которых вооружен теми двумя левыми руками, наличие которых Ривароль¹⁹ приписывал всем англичанкам, – всегда найдутся лица, негодующие от чистого сердца на блеск имени Браммелла: слава, венчающая легкомыслие, оскорбляет этих тяжеловесных слуг суровой морали. Только историка, то есть судьи, – судьи без энтузиазма и без ненависти, – не родилось еще для великого Денди, и каждый протекший день помеха тому, чтобы этот судья явился, – мы уже сказали почему. Если он не придет, слава оказалась бы для Браммелла только лишним зеркалом. При жизни она отражала его в сверкающей глади своей хрупкой поверхности; по смерти, как все зеркала, когда больше нет никого перед ними, – она не сохранила бы и памяти о нем.

¹⁹ См. сноску № 40

VIII

Так как Дендизм был не измышлением одного человека, а следствием определенного существовавшего до Браммелла состояния общества, то быть может здесь было бы уместно установить наличность Дендизма в истории английских нравов и точно определить его происхождение. Всё наводит на мысль, что он перенесен из Франции. Грация вступила в Англию при реставрации Карла II, под руку с Распущенностью, которая называла себя тогда ее сестрой и порою заставляла верить в это. С насмешками напала она на ужасающую невозмутимую серьезность пуритан Кромвеля. Великобританские нравы, всегда глубоко укорененные в обществе, независимо от того, хорошо или худо их устремление, — доходили в своей суровости до крайних пределов. Чтобы иметь возможность дышать, необходимо было избавиться от их власти, распустить этот тесный пояс, и придворные Карла II, испив в бокалах французского шампанского сок лотоса, дававший им забвение мрачных религиозных обычаев родины, начертили ту касательную, по которой можно было ускользнуть от их суровости. Многие устремились по этому пути. «Вскоре ученики превзошли своих старых учителей; и как с колкой точностью заметил один писатель²⁰, их добрая воля к разврату была столь добра, что Рочестер и Шефтсбери опередили на целый век современные им французские нравы и дотянулись до нравов Регентства». Речь идет не о Бекингеме и не о Гамильтоне, и не о самом Карле II, вообще ни о ком из тех, у кого воспоминания о годах изгнания оказались могущественнее впечатлений возврата на родину. Здесь скорее имеются ввиду те, что остались англичанами и кого только издалека коснулось иностранное веянье, те, что открыли век царствования «Прекрасных» («Beaux»), как сэр Джордж Хеветт, Уилсон, убитый как говорят на дуэли с Лоу (Law) и Филдинг, приковавший к себе своей красотой скептический взгляд беззаботного Карла II; женившись на знаменитой герцогине Кливеленд, он впоследствии воскресил сцены Лозена²¹ с *grande Mademoiselle*. Таким образом, мы видим, что самое наименование их вскрывает здесь французское влияние. Их грация соответствовала имени. Она не была достаточно туземной, не заключала в себе самобытности народа, среди которого родился Шекспир, ни той внутренней силы, которая позднее должна была ее проникнуть. Но не будем заблуждаться: «Прекрасные» вовсе еще не Денди, но они им предшествуют. Дендизм, правда, уже шевелится под этой оболочкой, но еще отнюдь не является. Ему надлежит выйти из самых глубоких слоев английского общества. Филдинг умирает в 1712 г. После него полковник Эджеворт, прославленный Стилом (Steel) (тоже один из Прекрасных во дни своей молодости), продолжает золотую ювелирную цепь Прекрасных, цепь, замыкающуюся Нэшем (Nasch), чтобы затем вновь открыться Браммеллом, но уже включая в себе сверх прежнего содержания еще и Дендизм.

Ибо, если Дендизм и явился раньше на свет, то свое развитие и свою форму он получил в промежуток времени, отделяющий Филдинга от Нэша. Что касается его имени (корень которого еще может оказаться французским), то он приобрел его значительно позже. Оно не встречается у Джонсона; но самое явление Дендизма уже существовало и, как и следовало ожидать, в среде личностей наиболее одаренных. В самом деле, раз ценность человека всегда зависит от количества его способностей, а Дендизм представлял как раз те из них, которые не имели место в общественном укладе того времени, то всякий незаурядный человек должен был получить окраску Денди и в большей или меньшей степени получал ее. Так, например,

²⁰ Амеде Рене (Amédée Renée) в своем введении к Письмам лорда Честерфилда (Lettres de lord Chesterfeld Paris, 1842).

²¹ Герцог де Лозен (1633–1723) — приближенный Людовика XIV, вследствие интриг Лувуа и маркизы де Монтеспан попал в немилость и подвергся тюремному заключению. Около 1682 г. тайно женился на мадемуазель де Монпансье, двоюродной сестре короля и участнице Фронды. (прим. редакции)

Мальборо, Честерфилд, Болингброк; последний в особенности, ибо Честерфилд, создавший в своих Письмах²² целый трактат о Джентльмене (подобно тому, как Макиавелли о Государе), скорее повествуя об обычаях, чем измышляя правила, – Честерфилд, еще вполне приверженец общепринятого мнения, а Мальборо, с его красотой надменной женщины, более алчен, чем тщеславен.

Один Болингброк опережает свое время, один он совершенен, как истый Денди наших дней. Его роднит с Денди и отвага поведения, и напыщенная дерзость, и забота о внешнем впечатлении, и неизменно бодрствующее тщеславие. Вспоминают, как он завидовал Гарлею²³ (Harley), убитому Гискаром²⁴ (Guiscard), и как он говорил себе в утешение, что убийца, конечно, принял одного министра за другого. И разве не видели, как, порвав с чопорностями лондонских гостиных, – ужасно подумать! – он открыто полюбил и самой естественной любовью какую-то продавщицу апельсинов, быть может, вовсе даже и не красавицу, торговавшую под сводами парламента?²⁵ Наконец, он изобрел самый девиз Дендизма, знаменитое *Nil mirari*²⁶ этих маленьких богов, всегда стремящихся поразить неожиданностью, сохраняя бесстрашие²⁷. Больше чем кому-либо, Дендизм был к лицу Болингброку. Не было ли это таким же свободомыслием в области обычаев и правил света, каким была философия в области морали и религии? Подобно философам, противопоставляющим закону более верховные обязательства, Денди, своим личным авторитетом, устанавливают иные правила над теми, которые господствуют в наиболее аристократических, наиболее приверженных традиции кругах²⁸; при помощи едких шуток и растворяющего, смягчающего могущества грации они заставят принять эти подвижные правила, которые, в конечном счете, коренятся только в отваге их личности. Любопытный результат, заложенный в природе вещей. Пусть общество держится замкнуто, пусть аристократия ограждается от всего, что не общепризнано, – наступит день, когда Прихоть восстанет и разрушит эти перегородки, казавшиеся непроницаемыми, но уже подточенные скукой. Это сбылось над народом самой строгой выправки и грубого милитаризма: суетность²⁹, с одной стороны, с другой же богатое воображение, взывающее к своим правам перед лицом морали, слишком узкой, чтобы быть истинною, создали своеобразную науку манер и поз, немислимую в другой стране. Этой науки Браммелл был

²² Честерфилд. Письма к сыну. Максимумы. Характеры. М., Л.: Наука, 1971. (прим. редакции)

²³ Роберт Гарлей или Харли, 1-й граф Оксфорд (1661–1724) – английский политический деятель, инициатор создания скандально известной компании Южных морей. (прим. редакции)

²⁴ Антуан де Гвискар (1658–1711), также известный как маркиз де Гискар, французский шпион и двойной агент, который пытался убить Роберта Харли 8 Марта, 1711 г., нанеся ему несколько ран ножом. Его мотивы не совсем ясны, хотя он, видимо, был агентом, который действовал в качестве шпиона для французского и британского правительств. (прим. редакции)

²⁵ London and Westminster Review.

²⁶ Nil mirari (лат.) – ничему не следует удивляться. (прим. редакции)

²⁷ Дендизм поселяет античную невозмутимость в волнуемых современностью душах; но невозмутимость Древних рождалась в гармонии их способностей и полноты свободно-развивавшейся жизни, между тем как невозмутимость Денди есть поза Духа, прошедшего через много мировоззрений и слишком пресыщенного, чтобы воодушевляться. Денди оратор был бы таковым по образу Перикла – со скрещенными под плащом руками. Взгляните на восхитительную, дерзкую и вполне современную по духу позу Пирра, выслушивающего проклятия Гермियोны, на картине Жироде*. Это лучше всяких слов даст понятие о том, что я хочу сказать.

²⁸ Это относится не к одной только Англии. Когда в России княгиня Дашкова отказалась от румян, что было актом Дендизма, быть может, даже крайнего, ибо ее поступок был проявлением самой бесчинной независимости. В России румяный – то же, что красивый, и в XVIII веке нищие на углах улиц не решились бы просить милостыню, не нарумянившись. Прочтите об этой женщине у Рюльера. Рюльер писатель, перо которого также было причастно Дендизму, писатель, остающийся пикантным даже в глубоком. Если бы история была лишь анекдотом, о, как он написал бы её!

²⁹ Frivolité. Название, которым ненавистничество наделило целый ряд забот, в основе своей вполне законных, как отвечающих действительным потребностям. * Анн-Луи Жироде-Триозон (1767–1824) – французский исторический живописец, портретист, рисовальщик литографий и писатель, ученик Л. Давида. Увлекался греческой мифологией и стал предвозвестником романтизма. (прим. редакции)

последним законченным выражением, с которым уже никогда более ничто не сравнится. Ниже будет сказано, почему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.